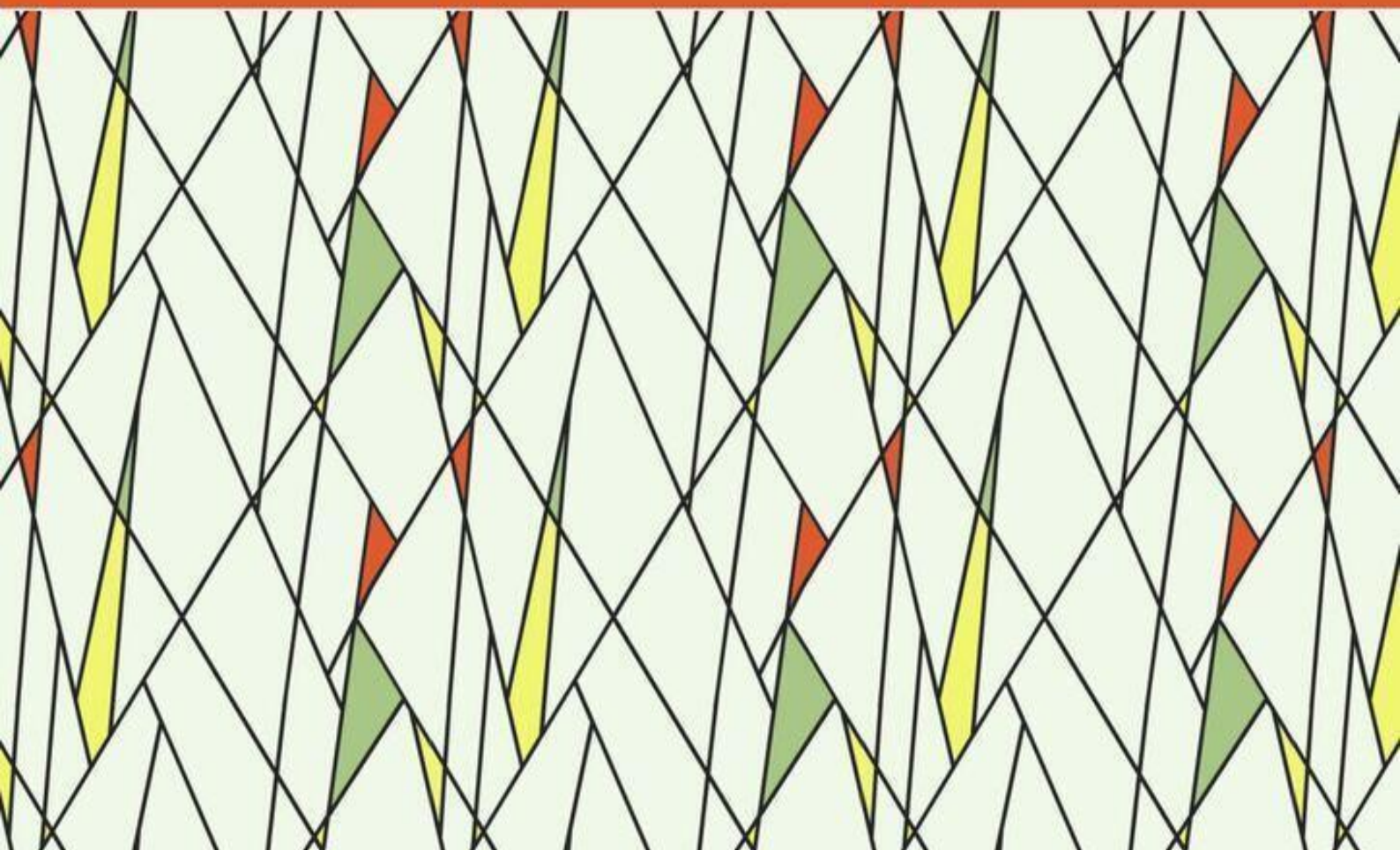


18+

Елена Ши

Разрешение на безумие

Исповедь тайной поэтессы от медицины



Елена Ши

**Разрешение на безумие. Исповедь
тайной поэтессы от медицины**

«Издательские решения»

Елена Ши

Разрешение на безумие. Исповедь тайной поэтессы от медицины /
Елена Ши — «Издательские решения»,

«Разрешение на безумие» — исповедь женщины, медика, педагога, поэта. В книге — путь от «правильной девочки» с ключом на шее до женщины, которая перестала бояться быть собой. Проза переплетается со стихами, как дыхание с тишиной. Это честный разговор о том, как важно однажды разрешить себе быть неудобной, сложной, живой. Безумие — иногда единственный способ остаться собой.

© Елена Ши

© Издательские решения

Содержание

Пролог	6
Глава 1. Когда деревья были большими	7
Глава 2. Лушенька	10
Глава 3. Коммуналка. Уроки большого мира	13
Глава 4. Девочка с ключом на шее	17
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Разрешение на безумие Исповедь тайной поэтессы от медицины

Елена Ши

*Пиши так, будто тебя никто никогда не прочитает.
Будь опасной, будь честной до цинизма,
будь сентиментальной до тошноты.
Е. ШИ*

© Елена Ши, 2026

ISBN 978-5-0070-8178-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

Всю жизнь меня учили быть правильной. Носить правильные ботинки, читать правильные учебники, выбрать «настоящую» профессию. Мир был чётко поделен надвое. Один — надёжный, бетонный — с «правильными» дипломами и стабильной зарплатой. И другой — ветреный, почти стыдный — тот, где пахло кулисами, пылью от грима, гулом отзвука гитарных струн и шелестом бумаги, испещрённой рифмами.

Мои родители, люди с добрыми, но испуганными сердцами, искренне верили, что спасают меня. Они замуровывали мою «другую» жизнь, как замуровывают оконный проём в доме, выходящем на север. Холодно, зато не дует. Они дали мне всё, кроме одного — права на сумасшествие. На ту самую «дурь», что заставляет шептать строчки в такт дождю, пока соседи думают, что я зову кота, или танцевать одной в комнате под «Кони привередливые», когда весь дом уже спит.

Школа закрепляла этот раскол ежедневным ритуалом. Звонок, как щелчок затвора, запирает нас в одинаковые форменные платья, усаживает за одинаковые парты, где «правильные» ответы ценились выше мысли. Учителя, сами когда-то прошедшие через эту шлифовку, терпеливо объясняли, что мир не терпит шероховатостей: оценки ставились не за искренность, а за соответствие образцу. Даже перемены были регламентированы — не для того, чтобы выдохнуть, а чтобы перестроиться к следующему уроку. Я училась кивать в нужных местах и прятать в рукав тетрадку со стихами, потому что рифма не вписывалась в расписание.

Школьные шаблоны не рассыпались с последним звонком — они просто сменили цвет обложки: вместо дневника появлялись зачётки, трудовая, а вместо оценок за ответы — баллы за соответствие регламенту.

Дальнейший путь добавил ко всему новый слой — серьёзность. Теперь «правильность» измерялась не только оценками, но и перспективой: распределение, стаж, карьерная лестница. Будущее казалось заранее расписанным, как лабораторный отчёт. И каждый раз, когда хотелось свернуть с маршрута, я вспоминала добрые, испуганные глаза родителей и снова выбирала «надёжное». Они ведь искренне верили, что спасают меня.

А бетонный мир, который столько лет казался незыблемым, уже потихоньку давал трещины. Сквозь них тянуло сквозняком перемен — резким, непривычным, от которого стыли пальцы и пустели полки. Старые правила ещё держались, но чувствовалось: они держатся не на прочности, а на инерции. И чем крепче я цеплялась за «надёжное», тем отчётливее понимала, что надёжного больше нет.

Они дали мне всё, кроме одного — права на сумасшествие. Ирония в том, что за это право не пришлось бороться до конца. Заложенные устои наступали на пятки и давили на протяжении всей жизни, но рассыпались сами, стоило только подойти к пенсионной черте. Оказалось, что система, которая столько лет диктовала, как правильно жить, просто перестаёт тебя замечать. И в этой внезапной невидимости, я наконец смогла быть собой. Теперь я шепчу строчки в такт дождю, и танцую в пустой комнате, до хрипоты подпевая Володе — и никто не скажет, что это «не по возрасту» или «не по статусу».

Глава 1. Когда деревья были большими

Златоуст. Что у меня связано с ним? Да всё. Вся моя жизнь.

Началась она зимним декабрьским вечером, за неделю до Нового года. Роддом стоял почти в центре, на главной улице всех советских городов — на улице Ленина. Старинное здание с огромной историей. Его стены видели—слышали многое: тихие молитвы монашек в своих кельях, стоны раненых бойцов в лихие годы отечественной, в шестидесятые — предродовые муки рожениц и восторженно испуганные первые крики младенцев. А после — встречали распахнутые двери студентов в белых халатах и накрахмаленных косынках, и проводжали — дипломированных фельдшеров, медицинских сестричек. Не пророчество ли — быть медиком?

Но пока что — это просто история моего появления.

Маму в роддом возили дважды. Первый раз — 22-го ночью. Схватки оказались ложными, и её днём 23-го отправили домой «дозреть» («дозреть» пришлось не долго, до вечера). Этот факт мой папа, молодой и отчаянный, воспринял как личную обиду со стороны судьбы.

Он прилетел под утро 22-го. Божечки, в этакый-то мороз! Снег шёл стеной. Не думая, он забрался по водосточной трубе на крышу двухэтажного здания роддома, прополз по снежному насту и приземлился прямо на жестяной отлив окна маминой палаты.

Несколько пар женских глаз, услышав шорох, повернулись к заиндеветшему от тепла оконцу. И она увидела очертания своего Валерки, лихого и бесшабашного, с охапкой снега на голове вместо шапки. Подошла, подула на стекло, приложила ладошку, подержала-убрала — и, на мгновение мир стал видимым!

Взгляды встретились...

Он прижался губами к отпечатку маленькой ладошки на холодном стекле и прошептал так, что она прочла по губам:

— Родила?

Мама покачала головой, худенькая, аж прозрачная до невозможности, с голубыми глазами — незабудками, положив обе руки на круглый, несносно тяжёлый живот.

Папины брови поползли вверх от ужаса. Он снова приник к стеклу:

— Ну, одного-то родила? Андрюшку!

— Какого? — удивилась она.

— Ну, мамка прибежала, сказала!

Да, бабушка, ни свет ни заря, примчалась в роддом с наспех собранной передачкой, ведь её старшенькая собралась присвоить ей статус бабушки. И ей подтвердил писклявый голосок через деревянную створку информационного окошка: «Да, родила. Мальчик», а цепкая ручонка проворно схватила нехитрый провиант.

Только мальчик родился у Ильиных, как выяснилось позже. А Ильина — та передумала рожать — схватки отпустили.

Забавно, как мамочка Ильиных, опустошая провизию, ломала голову, кто же этот таинственный благодетель?

Мама рассмеялась беззвучно, стукнув кулачком по стеклу: «Убирайся, дурак, замёрзнешь!».

Он не замёрз. Слез, отряхнулся от снега и через некоторое время уже бережно вёл свою Наденьку в их цокольный этаж съёмной комнатёнки в Ветлуге. Уже в доме, грел остывшие на морозе руки о тёплую кофту жены и смеялся. А я, маленькая и неторопливая, ждала своего часа — то бишь, до вечера.

Утром 31 декабря семья, с долгожданным первенцем, появившейся почти на месяц раньше срока и весившей каких-то 2600, — спешила вниз по улице Ленина. К себе, домой... — быстрее-быстрее, доченьку б не застудить.

Вдруг остановился ПАЗик с солдатами. В городе была своя воинская часть. Как радовались мальчишки-срочники молодому отцу, сияющей матери и ещё безымянному существу в свёртке! Андрюшку же ждали, девчачьи имена даже не рассматривались.

Послышалось робкое предложение: «Назовите Леночкой» — и все дружно подхватили, захлопали в ладоши: «Лена! Лена!..». Мама улыбнулась, глядя на папу. А что? Пусть будет Лена. Ведь и четырёхлетняя Светланка-племянница все уши прожужжала про сестричку Леночку.

Солдатики довели их до самого дома. Отъезжая, долго махали рукой Валерке, бережно прижимающему бесценный свёрток к груди, смеющейся Наденьке, машущей вслед варежкой, и новоиспечённой Ленке, беспечно посапывающей в коконе, перевязанном красной лентой, на руках у отца.

Новый 1966 год встречали втроём, всю ночь, кружась вокруг оказавшегося крайне беспокойным дитяти. Валерка подкидывал и подкидывал дрова в печь, но она плохо грела — комнатёнка тут же выстывала, тепло забирал хозяйский верхний этаж. Эх, Леночку б не застудить... Гори, гори ясно!

В этом и есть вся моя жизнь. Она началась не с крика в стерильной тишине, а с отчаянного папки на хлипкой жестянке отлива, с маминых глаз, которые не боялись, а смеялись сквозь ладошку на замёрзшем окне, с чьего-то мальчишки по имени Андрюшка, а может и не Андрюшка.

Возможно, быть медиком — и правда пророчество, зашифрованное в стенах того старого роддома. Но быть живой, быть дочкой этих двух людей — это была не судьба. Это был их личный, отчаянный и очень тёплый выбор. Они буквально полезли за ним на крышу в метель.

А я просто решила появиться, когда деревья были большими, а любовь — достаточно бесшабашной, чтобы растопить декабрьский лёд.

В декабрьский день

В декабрьский день, когда метель кружит,
Я появилась в этом мире странном.
И время, что безудержно бежит,
Меня ведёт по жизненным полянам.

Полвека с лишним — это не предел,
А только середина той дороги,
Где каждый миг по-своему был смел,
Где радости сменялись на тревоги.

Я благодарна каждому деньку,
Что подарил мне опыт драгоценный.
Сегодня птицей вольною лечу
К мечтам своим, как прежде, вдохновенно.

Пусть этот день подарит мне опять
Надежду, веру в чудо и удачу.
И буду я, как прежде, точно знать —
Жизнь удалась, а это много значит!

Глава 2. Лушенька

Мы переехали в коммуналку на трёх хозяев в начале апреля шестьдесят шестого. Легендарная Карла Маркса — один из домов, построенный пленными немцами, с его невообразимой архитектурой и высоченными потолками. Я уже уверенно держала голову и превращалась из недоношенного червячка в щекастого пузыря. Нас было трое, а стало — будто бесконечное множество. Но главное, мы обрели тихое, слепое солнце.

Мне скоро должно было стукнуть четыре месяца, мама собиралась выходить на работу. А как же маленькая — ясли? Да нет, рано кровиночку. На помощь призвали мамину бабушку, моего ангела-хранителя, мою Лушеньку. Та примчалась из Куртамышя от семьи сына-последыша, не раздумывая: внук Николенька во второй класс идёт, считай, на ноги поставлен. Сейчас она нужнее тут и сейчас!

Переступая порог двенадцатиметровой комнаты—вагона, она перекрестилась и вздохнула облегчённо: «Спасибо, Господи, послал дивчину, в один день со мною рожденную». По старому стилю прабабушка родилась 11 декабря (23 декабря по-новому). Вот ведь как случается.

Ей было 80 лет, и она ни намёка не подавала, что почти ничего не видит — лишь смутные очертания. А мама, придя однажды с работы пораньше, приоткрыла дверь и застыла: бабуля в одной руке держала пол-литровую бутылку с жидкой манной кашей и соской, а пальцем другой руки искала рот своей правнучки, чтобы накормить.

Расплакалась тогда Надежа — так нарекали маму все в её родне. Обняла старушку:

— Бабушка, не видишь ведь совсем, молчишь почему?

— Дак ведь от дивчины отстраните, не доверите, а душа моя прикипела и к дому вашему, и к дитятку родному.

После этого разговора начались хождения по поликлиникам, больницам, врачам. И Лушенька обрела новый облик — в очках—лупах, этаких «стрекозах». Именно таким, с огромными, увеличивающими глаза стёклами, её образ и жив по сей день в моей памяти.

Бабушку прописали родители в этой первой собственной комнатухе. 12 метров — и нас уже четверо. И в 1971-м, переезжая в двушку на проспекте Гагарина, мы ехали все вместе. Вчетвером.

Её уход стал моей первой, ещё не до конца понятной встречей с вечностью. Я, девчонка-шестилетка, засыпала всех вопросами: «А куда? А почему? А когда Лушенька проснётся?». Помню, в ноябре семьдесят второго вокруг были горы снега, а с неба шла мелкая, настырная морось. Я вытирала с лиц мамы и бабушки слёзы, да всё пыталась стереть дождинки, ручейками сбегающие из морщинок Луши, когда с ней прощались в последний раз, уже у могилки, чувствуя себя вдруг очень взрослой и очень потерянной.

Лушенька не ушла. Просто её зрение перешло ко мне. Теперь я смотрю на мир её глазами — этими самыми «стрекозами», которые видят человека. Не пророчество, а долг. Не шум, а тихую молитву за чужую боль.

Моей Лушеньке

Мне суждено было родиться

В студеный вечер декабря,
Заставить маму умилиться —
В рубашке доченька твоя!

И к правнучке своей прабабку
Решил совет семьи позвать —
Уж скольких вынянькала Луша,
Поможет девочку поднять!

А той, как весточку вручили,
Скорей в дорогу собралась.
И вот, легка уж на помине,
С нехитрым узелком в руках.

И прям с порога, молвит тихо,
Перекрестя украдкой лоб —
Сам Бог послал на свет дивчину,
День в день создал нас с ней Господь!

И поселившись в коммуналке,
Молилась, девочку прижав,
Чтоб Бог избавил от напастей,
Семью берёг, чтоб каждый час.

Ну а по праздникам бежала
В церквушку скоро за версту,
Всё свечи Богу посвящала
И не роптала на судьбу.

Ушла бабуля очень тихо,
Всю жизнь со скромностью в ладу.
Сама природа так скорбила,
Роняя слёзы поутру.

И мне, девчонке-шестилетке
Совсем уж было невдомёк,
Я всех вопросами добила —
Зачем же Лушенька ревёт?

И при прощаньи у могилки,
Всё вытирала из морщин
Такие ручейки — дождейки,
Прощаясь с нянею своей.

Идут года, а Луша рядом,
От многих бед меня спасла.
Ее любовь оберегает,
Как два неведомых крыла.

Несут меня по жизни крылья,
Дорогу к храму указав.

Глава 3. Коммуналка. Уроки большого мира

Коммуналка научила меня главному: мир тесен, хрупок и прозрачен.

Самая первая квартира от входной двери — за ней семья и трое ужасно шумных детей. Один из мальчишек, даже имя его не помню, выпрашивал у меня моего любимого тряпичного клоуна, прятался с ним за стенным выступом и пугал, страшно рыча моей, якобы ожившей куклой. Тишина — это редкий и общий дар, который приходилось добывать.

Направо по длиннущему коридору была дверь. За ней жили двое, бездетных — тётя Тася и дядя Кузя. Они прикипели к соседской Леночке, как к собственному ребёнку, и всегда распахивали перед ней свои двери с радостью. Девочка не упускала возможности заглянуть к милым, почти родным, соседям.

До сих пор стоит в ушах:

— Маам, я к дядь Кузе и тётъ Тасе!

— Нет, доча. Они плюшки пекли, вся кухня ароматом корицы пропахла, мmmm..., а ты кланчить будешь.

— Да что ты, мамочка! Я только приду — они сами меня за стол усадят, чай пить, с плюшками!

На общей кухне пахло и нашим супом, и квашеной капустой, и соседскими котлетами... И мама с деревянной толкушкой, склонившаяся над кастрюлькой, и Лушино недовольное побряхтывание:

— Опять ты, Надежа, мятую картоху готовишь, ох, и не мила она мне.

— Пюре картофельное, бабушка, Валера с Леночкой обожают. А тебе я несколько отварных оставила.

Лушенька тихо улыбалась, дивясь угодливости внучки.

Запахи, жизни, судьбы. Здесь учились делиться — не только солью и сахаром, но и новостями, и тишиной, а иногда — горем. Дядя Кузя часто брал меня на руки, ставил к окну на широченный кухонный подоконник. Сам долговязый, худющий, облакачивался на него локтями, и мы с нашего четвертого этажа взирали на огромную улицу, снующие туда-сюда редкие в те времена машины, трамваи, гружёных лошадок, спешащих по делам прохожих. И вели задушевные беседы.

Похоронная процессия, много людей, духовой оркестр впереди:

— Дядя Кузя, демонстрация!

— Похороны, Леночка, коротка жизнь и длинна...

И рассказывал мне про жизнь и смерть.

— Значит, он умер?

— Нашёл покой, домой его провожают, детонька.

— А ты живой?

— Пока живой, вот ведь я, с тобой!

— А я—то хоть живая?

Громкий, прокуренный смех Кузьмы сотрясал нехитрую утварь кухни.

Лушенька, в своих лупах «стрекозах», молилась шёпотом в нашей комнатушке. Потом, когда я возвращалась из огромного коммунального мира к себе, прижимала меня, и её дрожащие руки были самым надёжным местом на свете.

Но был в том мире и другой, неожиданный урок. Урок из серии «не спрашивай — просто запомни».

Однажды, зайдя в наш общий, вечно запотевший туалет, я остолбенела. Напротив белого фаянсового «трона», на стене, висел... ботинок. Просто мужской ботинок, начищенный до блеска, аккуратно зашнурованный. Он висел на гвоздике, как икона или охотничий трофей. И смотрел на меня своим слепым, кожаным взглядом.

Я, разумеется, помчалась с вопросом к маме. «Мама! Там в туалете ботинок висит! Зачем?!».

Мама, не отрываясь от швейной машинки, мудро изрекла: «Это дяди Пети. Не тронь и не спрашивай. У каждого свои привычки».

Дядей Петей звали нашего третьего многодетного соседа, угрюмого и молчаливого мужчину, который сторонился всех. Больше я ничего о нём не знала. Но его ботинок на стене стал для меня главной загадкой коммуналки. Зачем? Может, чтобы не забыть обуться, выходя? Может, это талисман? Или он просто так сушился? Этот висящий в святилище уединения ботинок был совершенным абсурдом. И в то же время — строгим правилом. «Не тронь и не спрашивай».

Так я выучила, пожалуй, самый главный коммунальный закон: уважай чужую тайну, даже если она выглядит как начищенный башмак на стене. В мире, где всё на виду, должно оставаться место для частного, непонятного, своего. Даже если это частное — очень странное.

А ещё из окна нашей комнатухи, оно, в противовес кухонному, выходило во двор — я видела — море. Нет, не настоящее. Моё первое море было зелёным и шелестящим — это были огромные тополя внизу, целый шумящий прибой листвы, рассказывающий свои бесконечные сказки. О настоящем, о Чёрном, мне тихо, с тоской в голосе, рассказывала мама. Она мечтала и обещала: «Как-нибудь всей семьёй поедem к нему». Я и хотела, и боялась. «Нет, не поедem!» — заявляла я и на её удивлённый вопрос. «Почему?» — «Оно же Чёрное! Мы же грязными станем...». В моей детской логике название было пророческим и пугающим. Это море было где-то там, за пределами нашего двора-океана и коммунального полуострова. Оно манило и отталкивало, как всё неизведанное.

Может, именно там, на общей кухне, в загадочном туалете и у этого окна с видом на зелёные волны, и родились моя будущая профессия и пристрастие рифмовать. Не как долг, а как естественное движение души. Услышать. Увидеть. Принять чужую странность. Подставить плечо. Или просто — уступить место у плиты, чтобы другой мог согреть свою еду и, может быть, душу. И не задавать лишних вопросов про ботинки на стене.

Это был первый и самый важный курс наук: наука близости и дистанции. В двенадцати метрах и на общей кухне, казавшейся мне целым миром. В шёпоте тополей за окном и в маминей мечте о далёком, тёмном, манящем море.

Ностальгия по коммуналке

Канул в вечность увесистый ключ
От старой замочной скважины,
Золотой в неё юркнул луч,
Пробежался по стенам крашеным.

Лекарь—время по—прежнему глух,
Знать не зря на него досадуем.

Смилосердился коммуналки дух,
Воротил назад — в шестидесятые...

В углу плачет из плюша медведь —
Из опилок душа и тело...
В голос хочется мне подреветь,
Как я друга предать посмела?

Эмалированный чайник пуст,
Отколок глазури зияющей ранкой.
Чашка без чая навеяла грусть,
Ощуцаю себя чужестранкой...

Аромат не витает плюшек,
Не встречает соседка тётъ Тася.
Где корыто с горой постирушек?
Да и я не дитя, а мадам седовласа...

Комнатушка трамваем — наша,
Песня льётся — виниловый рай!
«Ах, Коля, Николаша,
Я пришла, а ты встречай!»

Грусть-тоска — ностальгия дамы,
Повернуть может время вспять?
Да носом уткнуться в ладони мамы,
Пятилетней девчушкой стать...

Большая стирка

Большая стирка каждый выходной,
Мы с мамой будем заняты весь день...
Девчужке-малолетке не впервой
Сих женских курсов шлифовать ступень.

Косынки сбились, коски расплелись,
Румянец яблочком, а глазки, что алмазки.
В мир постирушек с головою окунись,
Душой отдайся этой свистопляске!

Бельё в корыте накануне замочи,
Потом стирай его в нелепейшей машинке.
Всё белое в большом бачке вари,
Сини, крахмаль — не бельецо — снежинки!

Наш дворик коммунальный утопал
В сетях верёвочных, натянутых по струнке.
По выходным простынный айсберг оживал,
Где под стенанья баб лавировали юнги!

Глава 4. Девочка с ключом на шее

Вскоре после переезда на новую квартиру меня ошарашили: «Лена, у тебя скоро будет братик. Ну, или сестричка».

Как? Кто-то ещё? Весь мой мирок до этого вертелся только вокруг меня. Моими были родители, моя Лушенька, баба Маня, тётя Инна с дядей Вовой. Я до шести лет была единственной и неповторимой. Но я, сделав не по-детски мудрое лицо, великодушно разрешила: «Ну что ж, брат, так брат». Сестра почему-то мной не рассматривалась.

С этого момента я интуитивно стала оберегать маму, помогала, чем могла. А однажды, вернувшись из садика, огорошила её вопросом:

— Мам, а как ты узнаешь, кого брать? Они же там одинаковые... мальчик то или девочка?

— Ой, доченька, даже не знаю... — испуганно ответила мама, опасаясь, что я что-то вызнала.

— По ножкам! — уверенно заявила я и стала обучать мать гендерной премудрости.

Поставила два кулачка вместе и оттопырила мизинчики.

— Вот, смотри. Если ножки так — значит, мальчик! А если так... — кулачки разомкнулись, и указательные пальцы дружно соединились рядышком, — девочка!

Откуда в детской голове родились эти умозаключения? Неизвестно. Но вечером мама тихо говорила отцу: «Валер, мне иногда кажется, что со мной не моя малолетняя дочь, а умудрённая женщина в теле маленькой девочки». Папа лишь улыбался и отмахивался.

В середине февраля 72-го родилась моя сестра. Как сестра? — недоумевала я. Плохо усвоила мама мою науку, видно.

Но я ждала. Все окна проглядела. Ох, как ждали с Лушенькой и тётей Инной! Марафет в квартире навели, стол на середину зала выдвинули, наварганили гору макарон по флотски. Папка, дядя Вова и баба Маня уехали встречать новый десант из роддома.

Долгожданный звонок в дверь. Я со всех ног несусь открывать. На пороге, во главе процессии, отец со свёртком.

— Ура! — ору я. — Давай сестру!

Папа протягивает мне увесистый куль. Мама ахает, все охают. А я, переполненная гордостью и возложенной ответственностью, уже чапаю в зал и бухаю драгоценный свёрток на диван.

Девочка опять оказалась без имени — на этот раз Мишку ждали, раз с Андрюшкой вышел облом. И имя позволили дать старшенькой.

— Маринка! — не думая заявила я.

У меня в саду была подруга Маринка, а у неё — младшая сестра Лена. А у меня будет наоборот: старшая — Лена, маленькая — Марина. Но «Маринка» в семье не прижилась. Хотя на амбулаторной карте в поликлинике первоначально значилось: «Марина Ильина». Потом — заклеено, и над заклейкой — «Юля». Вот так решила мама. Зарегистрировали сестру только через месяц. Я ничуть не переживала. Юля — так Юля. Лушенька смешно кликала её Юрой, мама тихонько поправляла: «Юля, бабушка, девочка это».

— Дык я и говорю — Юра. Знаю, что девочка, — успокаивала Надежу уже сильно исхудавшая Луша, отказывавшаяся от еды и на мольбы покушать отмахивавшаяся: «Зачем я Богу телеса свои понесу? Ни к чему они ему».

А мне пришлось повзрослеть. Уже в сентябре мама вышла на работу. Лушеньку забрала к себе баба Маня — дохаживала. Мама с папой вышли в смены: неделю мама в первую, папа

— во вторую, следующую — наоборот. И вот в этот пересменок, в промежутке до ухода одного и до прихода другого — на целых три часа — я была мамкой для своей Юльки.

Но сколько во мне было гордости! Из сада меня отпускали после обеда, когда всех с понурыми головами загоняли в спальню на ненавистный «тихий час». Я же, с гордо поднятой головой, с ключом от квартиры на шнурке на шее («на всякий случай»), бежала домой. Всего-то каких-то двести метров. А из окна подъезда мне уже махали рукой — то мама, то папа, передавая эстафету и самый драгоценный в мире груз.

Юлька подрастала и стала моим вечным хвостиком. Помню, лепила куличики, но, не упуская меня из вида, бросала всё, если я хоть на йоту пыталась отойти, и бежала за мной вослед с пронзительным криком: «Лека! Лека!».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.